



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

Рассказы,
очерки и эссе

Под одним СОЛНЦЕМ



16+

Павел Черкашин

**Под одним солнцем.
Рассказы, очерки и эссе**

«Издательство «Союз писателей»

2017

УДК 82-31
ББК 84 (2 Рос=Рус)

Черкашин П. Р.

Под одним солнцем. Рассказы, очерки и эссе / П. Р. Черкашин —
«Издательство «Союз писателей», 2017

ISBN 978-5-00073-467-4

Сборник избранных рассказов и очерков члена Союза писателей России Павла Черкашина.

УДК 82-31
ББК 84 (2 Рос=Рус)

ISBN 978-5-00073-467-4

© Черкашин П. Р., 2017
© «Издательство «Союз
писателей», 2017

Содержание

Большие мелочи	6
Мальчик и звезды	8
Здравствуй, солнце!	11
В гостях у Найды	15
Старики	19
Жили-были старик со старухой	22
Анастасия	26
Дом на мертволесье	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Павел Черкашин
Под одним солнцем.
Рассказы, очерки и эссе

© Павел Черкашин, Ханты-Мансийск, 2017

© «Союз писателей», Новокузнецк, 2017

Большие мелочи и маленькие значительности...

Жизнь быстро пролетает мимо, как стрела, выпущенная опытным лучником из гигантского лука судьбы. Лишь едва различимый след на мгновение остаётся в воздухе, подобно звезде освещает Вселенную и тут же тает, испаряется, исчезает, словно ничто и никогда не тревожило её бескрайние просторы. Оглядываясь назад и пытаясь анализировать прожитые годы, человек порой думает, что в памяти всплывут глобальные события, некогда потрясшие его до глубины. Вот только на практике куда чаще в голову приходят мелочи, которые, возможно, когда-то казались незначительными, но оставили в сердце тепло или, наоборот, коснулись ледяным, едва различимым дыханием, проникшим в подсознание и запечатлевшимся там.

Именно таким мелочам, обыденным событиям, которые могли бы произойти где угодно и с кем угодно, посвящена новая книга Павла Черкашина «Под одним солнцем». Герои его рассказов простые люди. Возможно, с кем-то из них автора сводила судьба, а может быть, он описывал происшествия, которым стал свидетелем или пережил лично. Читателю, которому предложили подсмотреть в замочную скважину и увидеть, как проводят будни его соседи, останется лишь гадать в поисках ответа на этот вопрос. Но так ли это важно на самом деле? Имеет значение лишь то, что чувства, которыми наполнены страницы, знакомы очень многим. И именно поэтому каждое произведение и весь сборник в целом столь сильно трогают за живое и остаются в памяти, как те самые маленькие случаи из жизни, вызывающие ностальгию или заставляющие содрогнуться годы спустя. Ну а прямо сейчас, в процессе чтения замечательной книги, они рождают искренние эмоции и создают атмосферу тёплой, дружеской беседы с давним знакомым, во время которой перед мысленным взором встают лица и картины, казалось бы, безвозвратно стёртые из сознания, замётённые песком времени.

Стоит отметить, что автор не ставил перед собой цель непременно подарить публике острые ощущения и эпические переживания. Сегодня и без того хватает книг в разных жанрах, которые погружают в глубочайший омут страстей, страхов, надежд и вызывают головокружительную эйфорию, слово речь идёт не о литературном произведении, а о фантазмагорическом психотропном препарате, который раз за разом принимает читатель, уже не способный обходиться без столь своеобразного допинга. Писатель рассчитывал заставить чувствовать глубже, видеть дальше, понимать больше. Он обращал внимание на то, мимо чего другие пройдут, не замедлив шага и не обернувшись. Его не так уж сильно интересуют встряски и потрясения, которые переворачивают целый мир, полёты на крыльях грандиозной мечты или сумасшедшие фантазии, но заставляют трепетать «вросший в землю, горбатый и почти развалившийся домик на окраине, беспрестанно болеющий и добрейший дед Трофимыч и его дряхлый пёс Верный» или «молодой паучок», который «покачался нерешительно над столом, спустился ещё, коснулся проворными лапками столешницы и насторожённо замер». Ведь Павел Черкашин знает, что все события, возможно даже роковые, могли «случиться из-за того, что в один из понедельников кто-то обнаружил пропажу своей расчёски».

Знакомясь с новой книгой, читатель невольно проникается любовью, которую автор испытывает к простому человеку, к своему родному краю, к той обычной жизни, наполненной маленькими приключениями, увлекательными прогулками, приятными чаепитиями, лесными ночёвками, которая состоит исключительно из мелочей. Он грустит вместе с писателем, радуется с ним за компанию и вспоминает «с такой саднящей тоской, с таким сладостным щемлением в сердце любимые места», с которыми связаны самые лучшие воспоминания, оставшиеся где-то на отрезке невидимой дуги, нарисованной на просторах Вселенной стрелой судьбы.

Екатерина КУЗНЕЦОВА

Мальчик и звезды

*Разверзлась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.*

М. Ломоносов

Это случилось в одну из зим в Салехарде, единственном городе, расположенном на Северном полярном круге.

Я стоял поздно вечером на автобусной остановке на улице Маяковского и ждал нужного маршрута. Автобуса всё не было. Невдалеке переминались в молчаливом ожидании ещё человек восемнадцать. Они ёжились от холода и постукивали ногами по утопанному снегу, пытаясь отогреть озябшие ноги. Хмурые взгляды горожан были направлены вниз, и лишь иногда усталые взоры устремлялись в тёмный проём улицы в надежде увидеть долгожданный автобус.

И только один мальчик, лет, скорее всего, девяти, явно выделялся из толпы.

Мальчик смотрел в небо.

Он не жался от холода, как остальные, не расхаживал монотонно из стороны в сторону, а наоборот стоял и, запрокинув голову, заворожённо смотрел вверх. Как будто чего-то ждал оттуда.

Я заинтересовался и тоже взглянул туда.

Далеко в небе мерцали яркие звёзды, похожие на крохотные льдинки. Стояла на редкость ясная ночь, и чёрный купол просто переливался от блеска холодных искринок. Звёзды, действительно, привораживали!

– Дяденька, – услышал я неподалёку детский голос и оторвал взгляд от звёзд.

Мальчик подошёл к стоящему по соседству мужчине. Тот рассеянно смотрел вперёд, курил и сначала не услышал обращения.

– Дяденька!

– М-м, ты мне? Чего?

– Дяденька, скажите, пожалуйста, что это за звезда? – и указал рукой в небо.

Мужчина скучно посмотрел вверх, пыхнул сигаретой, потом пожал плечами и буркнул:

– Не знаю.

– Извините, – с сожалением отозвался мальчик и отступил в сторону. Тихо вздохнул. Затем обернулся в надежде спросить ещё кого-нибудь и встретился взглядом со мной. Я едва заметно кивнул. Он обрадовано улыбнулся и подошёл.

– Вы – знаете?!

– Может быть. Тебе какую?

– Вон ту! Видите? – и вновь маленькая рука потянулась в небо.

Я наклонился к плечу мальчика и почти сразу увидел жёлтенькую звёздочку. Внутренне успокоился, узнав её.

– Это Арктур.

– Правда?! – удивлённо и с радостью выдохнул мальчуган.

– Да.

– Арктур... Красивое название. А в каком он созвездии?

– Кажется, Волопас. Да, Волопас.

– Волопас? А что это значит?

– Это... хм-м. Это человек такой. Волон который пасёт. Быков таких больших. Есть ведь – свинопас. Вот и волопас тоже есть.

– А звезда, значит, Артур называется?
– Нет. Арктур.
– Арк-тур, Арк-тур... Спасибо! А какие ещё есть звёзды?
– Звёзд, сам видишь, тысячи.
– Нет, ну таких, чтобы запомнить можно и найти.
– Ну, смотри, – и я стал перечислять, показывая, знакомые звёзды. – Вот это – Капелла, а вот эта, ниже – Альдебаран. Вон Кастор и Поллукс – братья-близнецы.
– А я родился под знаком Близнецов!
– Ну вот, теперь знаешь, где находится твоё созвездие. А во-он там, видишь, яркая, часто переливающаяся звезда?
– Вижу.
– Это – Сириус. Правда, красивая!
– Ага! Здорово!.. Я так люблю на звёзды смотреть! Всегда бы смотрел! – И снова устремил взор в звёздное небо.

А я невольно с благодарностью вспомнил маму. Те далёкие северные ночи детства, когда мы гуляли по затихшим улицам села Мужы. Она с вдохновением рассказывала об огромной таинственной стране созвездий, а я с затаённым дыханием слушал и восторженно глядел на опрокинутую чашу блистающего ночного неба.

Неожиданно из темноты поперёк Млечного Пути ярко чиркнул зелёной – фосфорического света – полоской метеор.

– Звезда упала! – быстро проговорил мальчик и обернулся. – А расскажите ещё про звёзды. Пожалуйста.

– Ещё... Знаешь, какое созвездие считается самым красивым?
– Какое?
– Орион. Вот оно, правее и выше Сириуса. Нашёл?
– Ага! Я раньше уже замечал эти три звёздочки в один ряд. Как волшебная палочка.
– Это не палочка. Это – пояс Ориона. А чуть ниже кинжал.
– Подождите немного, – попросил вдруг мальчик, расстегнул школьный ранец, вытащил тетрадку и карандаш. – Сейчас всё запишу.

Он пристроился поудобнее и замёрзшей рукой коряво и крупно вывел: «Арион».

– Эх ты, грамотей! «О» – первая буква.

Мальчик добродушно улыбнулся и поспешно намалевал поверх буквы «А» жирную «О». Потом записал под диктовку остальные названия и положил всё обратно в ранец.

– Спасибо большое! Я теперь много звёзд знаю!

В это время на остановке оживлённо зашевелились. Сверкнул фарами приближающийся наконец-то автобус. Люди нетерпеливо столпились у входа. Из открывшихся дверей дохнуло тёплым воздухом салона.

Поехали. Мальчик сел чуть впереди у окна и стал усиленно дышать на заиндевелое стекло, чтобы протаять толстый слой изморози.

А я задумался. Как всё-таки мы меняемся с возрастом. Редко смотрим в небо, на звёзды. Глядим либо вниз, либо вперёд, по горизонтали. Да и мыслим зачастую «горизонтально». Ходим, словно придавлены небом. Почему? Боимся?.. Странно, куда уходит всё то, что было в детстве?

Вот этот мальчик: он не боится неба, любит звёзды, и не равнодушен к ним. Было даже неловко, когда паренёк искренне поблагодарил за то, что я рассказал о ночном небе.

Милый мальчик, это я должен быть благодарен. Ты помог вспомнить детство, когда я не был равнодушным к небу, когда мысли и мечты простирались не только вперёд, но и ввысь, к далёким мерцающим светилам.

Спасибо тебе! Спасибо за звёзды!

Вспомнив о мальчике, я поглядел в его сторону.
Но его уже не было.

Здравствуй, солнце!

Мужи. Первая половина июля. Благословенная пора белых ночей. Долгожданный подарок природы всей мохнатой и крылатой живности леса. Необъятен день! Вот уж, казалось бы, и вечер поздний, ложись да отдыхай после дневных забот, а ещё и солнце не село. Щекотит, дразнит усталые глаза, желанный сон напрочь гонит. Что ты будешь делать!

Лишь ближе к полночи, когда солнце зависает над самым горизонтом, понемногу замирает село, только влюблённые парочки да беззаботные стайки молодёжи неспешно бродят по притихшим улицам, затягивают песни.

Влажная простыня ночи не спеша размывает отчаянную синь северного неба, забеливает даль окоёма. А в вышине – ни звёздочки!

Морошковым краем, страной белых ночей называют в это время года мужевскую землю.

На этих кривых улочках, отвоевавших когда-то у тайги своё место под солнцем, на высоком берегу Оби, прошло детство Толи Шебалина. Позади школа. Но каждый год приезжает он в Мужу на каникулы после сдачи экзаменов в университете. Так и в этот раз.

Шесть дней прошло, как сошёл Толя с «Метеора» на железный, гулко разносящий шаги дебаркадер. Хлебнул полной грудью родного воздуха и замер: так светло, радостно на сердце стало, что хоть кричи от переполняющего, невесть откуда взявшегося ощущения счастья. Но вместо этого губы лишь едва слышно прошептали:

– Дома!

Одним длинным-длинным днём прошла почти целая неделя как он у матери. Всё смешалось: разговоры, встречи, новости, и не вспомнишь, в какой день что было.

Ещё по приезду Толя пообещал своему одиннадцатилетнему брату Юре, что они обязательно пойдут на днях встречать восход солнца. У брата глаза загорелись. Каждый день, как вечер приблизится, спрашивает:

– Ну что, сегодня пойдём?

У Толи уже внутри неприятно покалывает: обещал ведь. А как пойдёшь? Тут крёстные в гости пришли, там ещё что-нибудь непредвиденное.

Но вот, наконец, выдался свободный вечер. Настало время сборов. Толя укладывает палатку, Юра собирает сумку с провизией. Мама с сестрой Ниной тут же в коридоре стоят, наблюдают. Невдомёк им, что это парням дома не сидится.

– И охота вам комаров кормить, – по-доброму усмехается мама.

– А мы с собой мазь взяли, – откликается Юра. – Во! Целый тюбик.

Нина, средняя из детей по возрасту, не преминула после мамы вставить:

– Лучше бы в своей комнате прибрались, чем шататься непонятно где.

Юра ехидно парирует:

– Ты дома остаёшься? Вот и приберись.

Сестра выразительно хмыкает и демонстративно уходит в свою комнату.

– Ой, обиделась будто! – смеётся вдогонку младший. – На часы посмотри. Десять уже. Какая приборка, на ночь-то глядя!

Толя незаметно поглядывает на маму, ожидая, как она отреагирует на словесную перепалку детей, и, успокаивая, говорит:

– Послезавтра всё равно суббота. Тогда полностью и приберёмся.

– Всё! Готово! – докладывает Юра и, пыхтя, зашнуровывает разношенные кроссовки.

Братья выходят во двор. Негромко разговаривая, идут на северную окраину Мужей. Вышли специально попозже, чтобы людей на улице меньше было. Село-то наполовину зырянское. А зыряне – народ любопытный. Всё интересно им: и кто куда пошёл, и о чём соседи

повздорили, и чья собака у их калитки ненароком уснула. Каждую мелочь приметят. Любого хоть завтра в разведчики записывай!

Людей, и, правда, было не много. То ли день душный был, то ли телефильм интересный показывают. Вышли Шебалины на окраину. Впереди на длинном деревянном шесте полосатый «чулок» аэропорта неподвижно висит. Тихо. Сейчас вдоль взлётнопосадочной полосы до небольшого пляжа на берегу Югана, а там чуть влево и палатку ставить.

Огненный шар солнца медленно заваливается к северу. В щедрой россыпи предзакатных лучей скрадываются очертания лесистого косогора, едва различима в золотистой дымке соседняя крохотная, в двенадцать домов, деревенька Ханты-Мужи. Воздух за день прогрелся, дышит ласкающим теплом и травными запахами, даже комаров ещё нет, прячутся в сырых низинах.

Пока братья устанавливают палатку, разводят небольшой костерок и готовят в котелке немудрящую похлёбку из пакетного супа с тушёнкой – уже полночь. Солнце зависло над дальним тальниковым островом и упрямо не хочет садиться. Струит рассеянный свет на раздольный пойменный луг, оттеняет румянцем жидкое серебро витиеватых протоков и реки.

– Искупаемся, пока комаров нет, – предлагает Толя.

– Давай, – охотно соглашается младший.

Шебалины наперегонки сбрасывают всю одежду и вприпрыжку бегут к Югану.

Статное, мужающее тело Толи первым взбуравливает спокойную гладь. Более осторожно, взохивая от неожиданной прохлады воды, заходит на глубину Юра. Братья неторопливо плывут на недалёкий противоположный берег. Хоть и не глубок Юган, но даже в жаркие дни вода прогревается лишь на метр, поэтому оба стараются держаться на поверхности, их голые тела почти не скрываются под водой.

– Уф-ф, хорошо! – отдувается Толя, выбираясь на пологий илистый берег.

– Ничего себе – хорошо! Дубак такой! В воде и то теплее.

– Не беда, скоро обсохнем. Смотри-ка, кони.

К Югану неторопливо брёл небольшой табун.

– Наверно, на водопой, – предположил Юра.

– Может быть. А может, на тот берег переплывут.

Мимо братьев равнодушно, полностью в своих думах прошли первые четыре лошади. Остановились у кромки Югана, лениво оглянулись, вразнобой фыркнули и вошли в воду. Поплыли. Вслед за ними с таким же несложным обрядом последовали ещё три. Издалека их рыжая лоснящаяся от воды шерсть казалась медно-огненной, словно само солнце спряталось в шкуре на покатых боках.

– Я испугался: думал, перевернут наш котелок, – признался младший.

– Да нет. Что они, глупые, на костёр идти, – рассудил другой брат. – Поплыли обратно.

Там уже, наверно, всё сварилось.

– Ага. А то всё равно что-то холодновато. И комары появились.

Братья отошли берегом вверх по течению, чтобы не плыть в тёмной, взбаламученной животными воде, и погрузились в прохладные струи реки.

– Ты чего отстал? – окликнул Толя брата, отряхываясь на мелководье от капель.

Юра неловко выбирается на берег и неуклюже ковыляет к костру. Тяжело дышит.

– Ногу поранил? – тревожится старший.

– Нет, светло. Едва доплыл. Хорошо, что у берега почти.

Юра пытается говорить со спокойной уверенностью, но глаза выдают недавний испуг.

– Иди, давай, в палатку, оботрись и одевайся быстрее, – велит Толя и хмурится. – А то не утонул, так простудишься.

– Маме только не говори! – отзывается из палатки Юра.

– Ладно, сами грамотные.

Толя одевается сам, потом берёт ложку, зачерпывает из котелка, дуёт и, обжигаясь, пробует:

– А ничего супец! Наваристый!

– Ты мне-то хоть оставь! – шутливо возмущается младший из палатки, энергично и шумно растираясь полотенцем.

– Сколько ложек? – с ответным юморком отзывается Толя, и братья смеются.

– Юр, слышишь?

– Что?

– Мазь прихвати. Одолели кровососы! Аж в ложку с супом липнут.

– Ага.

Брат выбирается из палатки с тубиком в руке.

– Ой, а солнце-то село! Прозевали!

– То-очно, – с сожалением тянет старший.

На севере почти в полнеба яро алеет заря. Там, где село солнце, далёким костром пышет горизонт. Такое ощущение, словно огненный шар совсем рядом, просто укрылся за тальниковым островом и, если подняться на холм, то непременно увидишь его приплюснутый, набирающий силы для нового дня круг.

Насытившись, братья спешат под брезент палатки от полчищ комаров.

– Сколько сейчас?

– Час ночи, – отвечает Толя, взглянув на часы.

– Здорово, да?!

– Что?

– Солнце встаёт в один день, а заходит уже на следующий!

– Да-а. Будто и не заходит вовсе.

– В Салехарде, наверно, так и есть. Там же Полярный круг?

– Ага. На Ямале вообще здорово. Кругом только тундра, небо и солнце! Там сейчас и белых ночей нет. Всё день и день.

– Классно! Не верится даже.

Незаметно проходит час. Золотисто-румяное зарево неторопливо передвигается с одного конца острова на другой.

– Гляди, – замечает Юра, – луна.

Толя внимательно шарит глазами по светлому безоблачному небу.

И правда, над Обью, одинокая, словно никому не нужная, блёкло розовеет слегка выщербленная с правого бока луна. Попранная владычица неба полярных ночей. С каждой минутой всё ярче раскаляется кромка земли и неба.

– Как будто все Шурышкары горят! – восклицает Юра с восхищением.

– С Салехардом вместе, – замороженно следом добавляет Толя.

Братья выбирают из палатки.

– Сейчас взойдёт, – с ожиданием в голосе произносит старший брат и неотрывно глядит на зарю.

– Ух ты! – выдыхает, обернувшись, Юра. – А в Мужах-то уже вошло!

Толя оборачивается и согласно кивает:

– Точно! На холме потому что.

В первых лучах розовеют притихшие дома. В окнах играет рассвет. Бело-сине-красный флаг на здании районной администрации кажется розово-лазурно-алым.

С минуту Шебалины любят родным селом и снова устремляются взглядом на север. Почти в то же мгновение тёплый луч ярко ударяет в глаза и заставляет прищуриться. Поначалу крохотный, уголёк светила всё больше раскаляется, растёт, превращается в полусферу и наконец, оранжево-красным шаром отрывается от горизонта, заливая светом всю низину Оби.

– Здравствуй, солнце! – радостно и шутливо выкрикивает Юра и машет рукой.

Толя весело смотрит на брата и тоже вскидывает руку:

– Привет!

Потом дурашливо прибавляет:

– А мы тут тебя всю ночь ждали! Целый час и двадцать минут!

Братья раздувают присмиривший огонь и кипятят воду для чая. Воспрянувший костёр отгоняет комаров, и они мельтешащей кучей-облачком недовольно отлетают в сторону. От горчащего запаха дыма оживают вдруг тёмные валуны дремлющих коней, они лениво поднимают головы и долго нюхают воздух.

На природе время течёт незаметно и быстро. Уже раннее утро. Солнце всё выше поднимается в небо и начинает припекать. По Оби пляшет целая россыпь золотых зайчиков.

Пора обратно в село. Шебалины заливают тлеющие угли костра, собирают палатку и отправляются домой.

Поднимаясь на первый пригорок Мужей, Толя и Юра ещё раз обернулись назад. Зелёный луг плотно затянулся жёлтыми облаками. Это один за другим раскрылись, встречая новый день, пушистые солнышки одуванчиков.

Над ещё спящими улицами, над речной низиной зычно разнеслось беззаботное ржание коней. И, словно приветствие, отозвался ему со стороны Киевата долгий раскатистый гудок теплохода.

В гостях у Найды

В Мужах зимы лютые, долгие. Приполярье. Сразу за селом – укутанная, заметённая частыми буранами тайга: ее последние отроги. А дальше, ближе к Салехарду – уже почти настоящая тундра с редкими чахлыми островками леса. Бескрайняя, оснеженная на долгие семь, а то и восемь месяцев. Тягуче медленно, как капля смолы из обломленной ветки кедра, выдавится из-за южного горизонта усталое декабрьское солнце, нехотя лизнёт верхушки елей за Мужами, и снова – мимолётные сумерки да бесконечная ночь.

Не зря говорят, что детская память цепкая, яркая. Всё, что связано у Виктора с Мужами, с малолетством, отрочеством, до мелочей помнится. То одно, то другое всплывёт из-за громады дней светлым облачком, откликнется добрым эхом. Постучит в окно ветер с родины, зашелестит по заиндевелому стеклу сухим, колким снегом и всколыхнёт, расцветит полярным сиянием воспоминания в душе, то грустные, то весёлые, но сердцу дорого и мило каждое. Так и в этот вечер.

Старый дом на две половины, в котором жила Витина семья, молчаливо встречает восход солнца да глядит умудрённо помутневшими стёклами окон на заречный тальниковый берег Оби. Лишь тихими ночами скупно перешёптывается он с двумя вековыми елями, что стоят рядом, у самой дороги, с незапамятных времён. Этот дом и две ели – молчаливые свидетели Витиною детства, и наверняка помнят все его шалости и приключения. А особенно этот забавный случай.

Сколько ж ему тогда было? Лет пять, не больше. Несмышлёный любопытный проказник.

Стояли жуткие Рождественские морозы. Даже старики головами качали, мол, лет двадцать пять такого не было. Витя третий день сидел дома. «Алёнушку» – детский сад, в который ходил, закрыли из-за холодов. Он сам видел, как в комнате их группы торчащие в полу шляпки гвоздей покрылись толстым слоем инея.

Пока мама на работе, Витя в первой половине дома, у бабушки с дедушкой. Баба Юля посадит мальчугана рядышком на диван, возьмёт в руки азбуку и буквам учит. Ей в этом умении равных нет. Всю жизнь баба Юля в системе народного образования проработала. Сначала учителем начальных классов была, потом заведующей в детских садах. И всё это на севере, где к обычным школьным и детсадовским проблемам бытовых забот непочатый край: от заготовки дров до вечной нехватки канцелярских принадлежностей и книг.

Сегодня баба Юля с внуком до буквы «пэ» добрались. Бабушка показывает на рисунок и спрашивает:

– Что на этой картинке нарисовано?

– Дерево, – говорит Витя, – срубленное.

Баба Юля по-доброму усмехнётся, помолчит и иначе спросит:

– А как называется то, что от срубленного дерева остаётся?

Внук напряжённо моргает и, вспомнив, счастливо выпаливает:

– Пень!

– Правильно! А теперь послушай, как я говорить буду: п-ень, п-алка, п-арус, п-апа... Что я для тебя голосом выделила?

– Пы.

– Так. Только правильно надо говорить «пэ».

– Пэ!

– Молодец. Вот, это ещё одна буква. Запомнил, какая она?

– Да.

– На табуретку похожа. Правда?

– Ага.

Баба Юля берёт карандаш и что-то пишет на бумаге, аккуратно выводя печатные буквы. Потом протягивает листок Вите.

– Ну-ка, догадайся, что я тут написала? Все буквы в слове тебе уже знакомы.

Мальчик старательно хмурит брови и шевелит губами.

– Пэ-е-лэ-и-кэ-а-нэ.

– Ну, что получилось?

Витя неуверенно говорит:

– Пеликан. А что это?

– Это птица такая, – поясняет баба Юля, – далеко на юге живёт. У неё, представляешь, под клювом большой мешок из своей же кожи есть!

– А зачем?

– Пеликан крупной рыбой питается. Поймает мама-пеликаниха в море рыбину, положит в свой мешок и улетает к берегу, чтобы самой съесть или птенцов накормить.

Тут шумно хлопает тяжёлая входная дверь. Внук резво спрыгивает с дивана и мчится в коридор.

– Деда Миша пришё-ол! – возвещает он не то бабушке, не то самому себе.

Дедушка осторожно отстраняет мальчика в сторону и, крихтя, говорит:

– Погоди-погоди, стрекулист! Застудишься ещё от меня. Дай разденусь!

А Вите не терпится, вертится около, в ладоши хлопает, подпрыгивает. Деда Миша, наоборот, серьёзный, ведь в милиции работает! Однако внуку, как и бабушка, благоволит. Вот сейчас разденется, пригладит поседевшие волосы и наклонится к его уху, приобнимет да чмокнет в щёку. А потом все вместе обедать сядут.

После еды опять развлечение. Дед отогреется, наденет валенки, полушубок, шапку-ушанку, а бабе Юле велит потеплее одеть пострелёнка. Это они пойдут Найду кормить.

Найда в конуре у поленницы живёт. Северная лайка. Конуру ей дедушка сам сколотил. Прочную, просторную, и даже с крышей двухскатной. Будто домик. Над входом брезентовый лоскут прибил, чтобы ветром снег внутрь не намело, на дно ворох сена положил для тепла.

Деда Миша берёт кастрюлю с отходами и выходит с внуком во двор. Заслышав стук двери и шаги, Найда сначала высовывает из конуры морду, потом резво выскакивает на притоптанный снег и радостно виляет хвостом. Витя каждый раз с интересом наблюдает, как она жадно, с громким чавканьем ест, поджав уши и хвост. На морозе у неё мелко-мелко дрожат ноги.

– Деда, а Найде разве не холодно?

Тот в раздумье слегка пожимает плечами.

– Может, и холодно, стужа-то вон какая.

– А вдруг она замёрзнет!?! – пугается Витя. – Давай её к нам домой запустим.

– Не бойся! – успокаивает дед. – У неё, видишь, какая шерсть густая? Да и не на снегу ведь голом спит, а в конуре.

– Всё равно жалко.

– Не переживай. Её теперь ещё и еда греть будет. Сытый меньше мёрзнет. Пойдём в дом!

Найда уже всё съела и, довольная, залезла обратно в домик. Витя садится на корточки и с любопытством приподнимает брезент перед входом в конуру. Заглядывает внутрь. Найда лежит тугим калачиком, морду глубоко в шерсть упрятала, только уши насторожённо торчат. «Наверно, всё-таки мёрзнет», – думает он и с сочувствием вздыхает.

– Пошли! – окликает дед с крыльца, и мальчик, поднимаясь, нехотя семенит в дом.

Старинные семейные часы немецкого производства девятнадцатого века размеренно и басисто бьют четыре раза... Считать Витю тоже баба Юля научила. Правда, пока только до двадцати. Как пойдут куда-нибудь, непременно считать просит, чтобы внуку нескучно было просто так идти: сама-то из-за возраста и полноты уже медленно ходит.

– Иди, – скажет, – вперёд, сосчитай, сколько в этом заборе палочек!

А ему и радость! Шагает, ручонкой до каждой палочки дотрагивается. Потом обратно спешит, и кричит на бегу, пока не забыл:

– Двенадцать раз по двадцать и ещё восемь!

Бабушка в ответ улыбнётся и головой кивнёт. Дойдут до конца забора, она и скажет:

– Молодец, правильно сосчитал. Я проверила, – и другое что-нибудь сосчитать просит.

...В тот вечерний час в старом доме уютно и тихо. Баба Юля растопила печь и готовит ужин. Витя предоставлен себе. На улице уже совсем темно, когда приходит мама. Сын радостно бежит навстречу. Соскучился. Мама с бабушкой обстоятельно обмениваются новостями дня, затем баба Юля застёгивает внуку шубку, и Витя с мамой идут через двор в другую половину дома.

Мама у Вити в школе работает, учителем, и поэтому почти сразу садится за планы завтрашних уроков. Хоть и холода, но самые старшие классы учатся. Витя уже понимает, что подготовить урок – дело далеко не простое, и по-своему помогает маме: старается не мешать. Сядет у заиндевело́го окошка и отгаивает пальцем дырочку, чтобы на фонари да на звёзды смотреть.

Так и в этот день было. Правда, не слишком ему на месте сиделось. Всё Найду вспоминал: как она там, на морозе? Не вытерпел, подбежал к маме.

– Мама, можно я пока к бабе Юле схожу?

– Что? – мама задумчиво оторвалась от учебника и записей. – А-а, сходи, конечно. Давай, я тебя одену.

Со стучащимся сердцем мальчик выскочил за дверь и – бегом к конуре Найды. Лоскут приподнял и в проём голову засунул. А там темно – хоть глаз выколи!

– Найда! – негромко позвал Витя. – Ты живая? Где ты тут?

В глубине зашевелилось, и влажный тёплый язык лизнул мальчугана по щеке.

– Так ты живая! – обрадовался он, протиснулся в конуру и стал ласково гладить её по шерсти. Найда ещё раз лизнула его в лицо и тихонько приветливо заскулила.

– А я думал, ты замёрзла. Собачка моя! Хорошая моя! – с жалостью в голосе проговорил Витя и обнял Найду за шею.

В конуре холодно не было. Пахло прелым сеном и ещё тем особым запахом, каким пахнут собаки. Витя для удобства прилёг и продолжал гладить Найду. Темнота и густой аромат сена, видимо, разморили, он подтянул ноги к животу и незаметно задремал.

Что произошло дальше, Витя узнал потом из рассказов мамы и бабушки.

В восемь часов вечера мама закончила с планами уроков и пошла к бабушке с дедушкой.

– Ну, вот и я. За сынулей пришла, – возвестила она с порога.

Баба Юля и дед недоумённо переглянулись.

– А он не у тебя разве?

– Нет, – насторожилась мама, – часа два прошло, как к вам отпросился.

– Господи! – испуганно всплеснула руками бабушка. – Он и не заходил к нам вовсе!

– Как? Совсем?!

– Совсем! – баба Юля в растерянности опустила на стул. – Где же он?

– Не знаю, – упавшим голосом обронила мама и кинулась к телефону. – Михеевым позвоню, может, к Алёшке убежал, заигрался. Господи, в такую погоду! И, главное, не спросись! К вам, сказал, пойдёт. Вот негодник!

Мама вздрагивающей рукой набирала трёхзначный номер и всё больше и больше хмурилась, нервно покусывая губы и от волнения теребя пальцами телефонный провод. Потом растерянно положила трубку на рычаг.

– Его там нет!

– Боже мой! Витенька! Замёрз уж, поди, где-нибудь! – стала всхлипывать бабушка.

А дед наоборот: он сразу весь собрался и говорит:

– Вот как сделаем. Ты, Людмила, соседей сейчас оббегй, поспрашивай, может, видел его кто, а потом обратно. Если никто не знает, я на работу оперативному дежурному буду звонить. Только побыстрее давай. А ты, Юля, пока Людмила ходит, своих знакомых обзвони. Чупровых не забудь. Может, Витя встретил Анну или Андрея Михайловича да к ним зашёл. Они бы, конечно, позвонили, но вдруг не сообразили или замешкались, забыли.

Баба Юля сразу к телефону села, а мама бегом по соседям, только калитка хлопнула.

От этого резкого звука Витя и проснулся. И никак понять не может, где находится. Слышит, сопит кто-то рядом. Снял рукавичку, дотронулся – мягкое что-то, словно волосы. Тут и вспомнил, что он в конуре у Найды. Вылез наружу – и быстрее в дом!

Баба Юля как увидела внука, так и застыла с телефонной трубкой в руке. А дед нахмурился, поднялся со стула и строго спрашивает:

– Ты где был, варнак? Откуда в сене весь?

Витя поглядел на себя – и правда: вся шубка и валенки в былинках сена. Испугался, что ругать будут, виновато заговорил, а сам уже хнычет:

– В конуре-е. У На-а-айды.

– В конуре? – опешил деда Миша. – Какой леший тебя туда понёс? Мать уже с ног сбилась! Ищет по всем Мужам!

– Я её от моро-оза гре-ел... Я больше не бу-уду.

– Не будет он! Перестань реветь!.. Нет, это ж надо! В конуру залез!. Не реви! Распустил нюни, мужик!

– Ну, ладно, – вступилась бабушка. – Чего на внука накинудся? Он уж сам перепугался, дрожит вон весь. Нашёлся – и слава Богу!.. Витюша, я тебя раздену, и айда – спать пойдёшь. Хорошо?

Витя в ответ только торопливо кивает головой и трёт кулачком глаза. Дед умолкает, провояая их недовольным взглядом. Потом изумлённо восклицает:

– Ну на-адо же! В конуру забрался! Тут и с милицией не сразу найдёшь!

Баба Юля ведёт Витю в комнату, расправляет постель, укладывает внука и поправляет одеяло.

– Спи! Спокойной ночи!

Уже в полудрёме Витя услышал, что пришла мама, и затих. Прислушался.

У неё грустный, чуть сдавленный голос.

– Нет... никто не видел. Всех обошла.

– Да дома он, – негромко ответил деда Миша. – Успокойся. Спит уже. Ты только ушла – и он в двери. Гулеван.

– Да где ж он был столько времени?

Дед сперва нарочно, для большего эффекта, выдерживает паузу, а затем, озорливо и смеясь, отвечает:

– Где был?! Нипочём не догадаешься! В конуре он был! У Найды! От холода, понимаешь, её спасал, чтоб не замёрзла!

– Ох, горе мне с ним! – устало, но с облегчением выдохнула мама и присела за стол.

– Не переживай! Что ж за горе? Хороший парень растёт, с добрым сердцем. А то, что глаз да глаз нужен – так все мальцы такие. И не то ещё бывает!

Мама согласно улыбнулась.

– Ну, ладно. Пусть у вас спит. Я тоже пойду, а то набегалась по морозу, самой бы под одеяло скорей.

Она ещё раз вздохнула, встала, пожелала приятного сна родителям и ушла.

А когда легли дедушка с бабушкой, Витя уже крепко спал. И снилась ему Найда.

Старики

Знавал я одного старика, Шубина Семёна Трофимовича. Жил он в глухой северной деревушке, где и улиц-то не было, а дома срублены так, как того их хозяин желал, и потому располагались без всякого порядка. Дом Трофимыча, так все звали старика, ютился на краешке деревни, даже несколько на отшибе от всех.

Угрюмо и сиротливо смотрел он на остальные дома из-под покосившихся простеньких наличников двумя окнами-глазами с уже мутным, но уцелевшим с давних, ещё довоенных времён стеклом. Бурые стены из тесаных брёвен, когда-то очень давно добротнo срубленных крестом, сильно рассохлись, и в чёрных щелях плотно разросся мох, зарубцовывая морщины-раны всё больше ветшающего дома и оставляя на их месте сыроватый зелёный шов. Дом глубоко врос в землю, по самые окна, а крыша, которая была в «молодые» годы крутой и крепкой, теперь рассыпалась местами в труху. Частые дожди, сильные северные ветры, жуки-древоточцы постепенно разрушили её. И в последние годы она больше уродовала дом, чем защищала от осенних ливней, возвышаясь бесформенным горбом на его непрочной спине.

Даже издали было видно, как стар махонький невзрачный домишко, весь в пятнах мха и лишайника, с полуразвалившейся, как старый пень кедра, закоптелой трубой.

Трофимыч тоже был стар. И даже чем-то похож на свой домишко. Прошлой осенью ему исполнилось восемьдесят четыре года.

Он давно был сед. Смуглое лицо с годами ссохлось и пожелтело, а морщины смяли в тёмные складки черты лица, оставив мелкие островки дряблой кожи. Когда Трофимыч молчал, то губ не было даже видно: на их месте тянулась глубокая борозда, которая изгибалась полумесяцем вниз. И лишь когда дед хотел что-нибудь сказать, борозда вдруг начинала дрожать, превращалась в тёмный проём, и оттуда слышались тихие хриплые звуки.

Трофимыч, может быть, по натуре своей или в силу преклонного возраста, был большой молчун, и разговорить его было крайне трудно. Когда он кого-либо слушал, то «отвечал» собеседнику больше выражением глаз, мимикой или спокойными одобряющими движениями головы, рук, а говорить избегал. Да и трудно ему было это: часто он закашливался, и тогда всё сгорбленное тело деда судорожно вздрагивало от затяжного приступа кашля, и на грустных глазах от натуги выступали крупные слёзы, которые, скатываясь, тут же терялись в морщинах.

– О-хо-хо, – произносил Трофимыч страдальческим голосом, тяжело дышал осторожно шёл дальше, опираясь на неровную сучковатую палку, верную помощницу в недалёких путешествиях до единственного в деревеньке магазина. Палка жалобно скрипела, обречённо тыкаясь тупым концом в притоптанный снег узкой тропинки, петлявшей между массивными сугробами, и слегка дрожала в немогущей руке деда.

На деревне Трофимыча знали все, но никто не был с ним в близких приятельских отношениях. Друзья, с которыми он ещё восемь-десять лет назад балагурил длинными летними вечерами на широкой завалинке, и которые шутливо называли его Тропинычем за то, что лучше всех знал окрестные таёжные тропы, уже покоятся на маленьком деревенском кладбище, что приютилось тут же около деревни, в светлом березничке. А у молодых семей свои дела, свои друзья, хотя из сострадания и уважения к старости помогают ему.

Да и сам Трофимыч сторонился людей, считал, что его время давно кануло в прошлое, жизнь на исходе и незачем мешать молодым.

Но ко мне он почему-то имел доброе дружеское расположение, говорил гораздо охотнее, однако слишком впустую, расточать слова тоже не любил. Может быть, чувствовал Трофимыч во мне такую же одинокую душу, несмотря на большую разницу лет. Мне была приятна старикова приветливость, и я отвечал ему тем же. Частенько зимними вечерами сиживал у него, слушал неторопливые рассказы и всякую бывальщину.

В эту зиму я бывал у Трофимыча намного чаще, чем в прошлые годы. Хорошо посидеть за горячим чаем в умудрённом покое стариковского дома, когда за окнами бесится пурга и ничего не видно за снежной круговертью.

Так и на этот раз.

Третий день сильно бурило. Плотной завесой хороводил колючий снег, обхватывал меня со всех сторон. Всюду, на сколько хватал взгляд, косматились вихри. То явственно проступали из ночной тьмы, то беспомощно рассыпались, уносимые властным ветром. Надрывно ныли провода, и единственный в округе фонарь бросал бледный жиденький свет на ближайшие десять метров. Он часто мигал, и когда, сильно мотнувшись в сторону, гас, холодная мгла совсем наваливалась на меня, давила непроглядностью.

Все тропинки были щедро заметены, и я шёл наугад через огромные снеговые хребты, ориентируясь только на слабый мутный свет от ближайших окон.

Дошёл до знакомой повалившейся изгороди, поднялся по заметённому крылечку до двери, толкнул плечом и тяжело ввалился в сени. Отряхнулся в темноте от снега и перевёл дух. Затем отворил вторую дверь и вошёл внутрь дома. В нос ударил знакомый застоявшийся запах ветхой избы.

Трофимыч закричал, поднялся навстречу и натужно произнёс:

– Думал, и не придёшь сегодня. Погодка-то! О-ёй!

– У-уфф, убррро-одно! Да и не видно ни зги. Что за зима!

– Да-а, лютует. Так ведь Рождественские на дворе, как иначе-то. Оттого и разошлась, ведьма, – сказал старик и глухо усмехнулся. – Погоди ишо, вот Крещенские следом будут. Хм-м. Ну, хорошо, что пришёл. Озяб?

– Вообще замёрз! Как только нос не отвалился!

– Хм-хм., м-м-мда, – промычал старик и, словно очнувшись, сказал:

– А я уж и чай заварил, пока дожидался.

– Чай! Это замечательно! Поди, ещё с рябиной?

– С ней, а как же.

– Люблю с рябиной! Да еще с такой зверской стужи.

– Знаю.

– Ох, Трофимыч, балуешь ты меня.

– Да чего уж там, – засмутился дед. – Садись за стол.

Трофимыч ушёл на кухню, погромел там посудой и через некоторое время вышел, неся в руках две местами обитые кружки и надтреснутую фарфоровую сахарницу с простенькой росписью на боку.

Мы пили чай. Я осторожно втягивал обжигающую оранжевозолотистую жидкость, понемножку глотал и с наслаждением ощущал, как растекается внутри горячая струйка по всему телу, согревая его. Горьковато-терпкий привкус рябины вливал новые силы, приятно бодрил голову. Блаженство!

За чаем и разговорами незаметно прошло, наверное, полчаса. Вдруг я заметил, что из-за края тонкой перегородки на кухню на меня внимательно смотрит чёрная лохматая морда.

«Не встретил, как обычно», – только сейчас отметилось в голове.

Это был совсем уже старый крупный охотничий пёс по кличке Верный. Он тоже доживал свой собачий век, и в последние два-три года сильно одряхлел.

– Верный, – позвал его Трофимыч, – поди сюда.

Пёс поднялся с задних лап, вышел из-за перегородки и тяжело запереваливался с боку на бок к нам, зацокал когтями по широким половицам. Проковылял с десятков шагов и неловко с силенным выдохом осел подле старика-хозяина.

Он был по-собачьи сед. Кроме белых бровей и усов, которые смешно топорщились на морде в разные стороны, серебристые шерстинки проступали по всей шкуре и особенно по

заострившемуся хребту, где сливались в сплошную белёсую полосу. Глаза Верного глядели страдальчески и как-то обречённо. Он тяжело дышал и мелко, как от озноба, подрагивал всем телом.

– Что, старина, не подохо ещё? – насмешливо спросил дед, помолчал и уже печально добавил:

– Я вот тоже.

– Ну, Трофимыч, брось ты это. Зачем же смерть торопить?

– Да уж отгуляли мы с ним своё, отгуляли. Теперь вот только маемся. Каждый божий день хворь какая-нибудь привяжется, ночь лежишь, стонешь. Да и глаза стали совсем никудышные. Очки мои видел? Стёклы у них – с палец. Во! А давно ли с Верным ещё на белок хаживали! Точнёхонько в глаз бил! За все года только четыре шкурки плохим выстрелом загубил. Да-а, было время. Кха-кха-кха...

Трофимыч глухо закашлялся, медленно развёл руки в стороны, словно извиняясь, и бесильно уронил обратно на колени. Затем ещё медленнее встал и ушёл шаркающими шагами на кухню. Когда вернулся, на острые плечи была накинута сильно поношенная, обремкавшаяся по краям клетчатая шаль.

– Что-то зябко стало, – сказал надтреснутым голосом Трофимыч, пододвинул расшатанный табурет ближе к печке и замолчал. На этот раз надолго.

Старый пёс последовал примеру хозяина, тоже перебрался на дрожащих лапах к печной дверце, за которой порывисто гудело пламя, и с длинным шумным вздохом сел на задние лапы.

В избушке воцарилась уютная тишина.

Мерно чакали на стене ходики, зажатые с двух сторон древними помутневшими фото-портретами в рамах, мирно гудела печка, потрескивала полешками. От печного жара, прозрачными волнами поднимающегося вверх, все предметы были расплывчаты и неясны. На покосившихся стенах вздрагивали огненные тени, и лицо старика было щедро освещено тёплым оранжевым светом.

Трофимыч по-прежнему молчал. Видно было, что дед крепко задумался. Он почти не моргал, а только щурился и смотрел на жаркие всполохи огня, которые отражались искорками в воспалённых глазах.

Вдруг он повернул голову к Верному. Тот тоже обернулся к хозяину, и они долго, пристально смотрели друг на друга, видимо, вспоминая что-то очень давнее, известное только им двоим. Потом Трофимыч вздохнул и горестно кивнул старому другу. Пёс в ответ слабо шевельнул ушами, махнул вялым хвостом, грузно переступил с лапы на лапу, и они снова стали глядеть, как стреляют догорающие дровишки, и слушать привычное гудение старой печки.

Я взглянул на ходики. Половина двенадцатого.

«Однако пора собираться», – мелькнуло в голове. Тихо оделся, получше укутался и подошёл попрощаться с Трофимычем.

– Ну, пора. Пойду.

Трофимыч не ответил. Возможно, даже не услышал. Только пёс нехотя посмотрел в мою сторону и тут же повернулся обратно, втягивая носом разогретый воздух.

Я заулыбался, глядя на старых друзей, и тихо вышел из дома, не забыв плотно закрыть разохшуюся дверь.

Когда прошёл несколько шагов, то невольно оглянулся назад. Дом стоял ещё больше занесённый снегом, и махонькие окошки были уже наполовину упрятаны за высокими плотными наметами.

Сейчас я далеко, но мысленно вот они передо мной: вросший в землю, горбатый и почти развалившийся домик на окраине, беспрестанно болеющий и добрейший дед Трофимыч и его дряхлый пёс Верный – милые мне старики.

Жили-были старик со старухой

Михеич сидел на скамейке боком к печке и курил папиросу. Неторопливо втягивал в себя, прищуривая при этом обрякшие веки, и столь же медленно выпускал изо рта густой дым. Топил печку. В доме уже стало тепло. В топке слабо шуршали раскалённые головёшки, печка дотапливалась.

Не выпуская из плотно сжатых губ уже погасшую папиросу, старик снял телогрейку, взял длинную кочергу, открыл дверцу печи и последний раз пошерудил остывающие угли, сдвинул их кучкой поближе к дымоходу. С минуту-другую выждал, встал, со стоном распрямил до хруста спину, крепко задвинул заслонку и снова с облегчением сел. Вгляделся подслеповатыми глазами в циферблат старых ходиков с одной гирькой-шишкой, качнул головой и стянул губы в трубочку. Было без четверти восемь.

– Где же нашу старуху-то носит, а, Вась? – обратился он к белому с рыжеватыми пятнами коту.

У Михеича всегда была эта странность: очень уж любил разговаривать с животными. Причём не в шутку и не походя, как многие, а именно серьёзно, как с человеком. То им новость какую расскажет, а то и за советом обратится.

Было дело. Один раз Михеич за сеном ехать собрался. Вышел коня запрягать в сани, сам разговаривает с ним между делом. А потом неожиданно возьми да и спроси:

– А что, Бурко, как ты думаешь, сѣдни ехать али завтрева подождѣм? А? Сѣдни?

А коню вдруг случись с чего-то головой замотать после этих слов, он и замотал. Да так сильно, что старик малость струхнул даже, стал обратно распрягать да приговаривать:

– И то, правда! Что ж это я тебя сразу-то не спросил. Подождѣм до завтрева. Не ровѣн час – пурга вдруг начнѣтся. Сгинем тогда оба.

Завѣл коня обратно в стойло и сам зашѣл в дом, разделся к удивлению старухи, сел за стол чай пить.

И что самое интересное, немного погодя, погода, в самом деле, начала быстро портиться, повалил густющий снег, завьюжило, загудело, и целых два дня пробушевала пурга, загнав всех по домам. Старики тоже безвылазно сидели в домике, Михеич тогда всё крестился да благодарил за провидение коня, всячески расхваливал перед старухой его ум.

– Где ж она запропала-то, а? – спросил он снова кота о старухе.

Васька только едва повѣл ухом в сторону голоса. Разморѣнный жарой, он сидел подле самой печки с плотно закрытыми глазами и был похож на медитирующего китайца.

– Вась, ты чего молчишь, когда с тобой разговаривают?

Уши кота снова слабо шевельнулись.

– Васька, иди ко мне!

Та же реакция.

Старик догадливо усмехнулся и хитро блеснул глазами. Потом вскинул брови и вкрадчиво, нараспев проговорил:

– Ва-сень-ка-а, а я ведь против твоего молчанья-то волшебное сло-ово знаю!

Михеич выждал хорошую паузу и в полной тишине произнёс:

– Кыс-кк-кк-кк-кк!

Ваську как подменили! С громким обрадованным мяуканьем он мигом вспрыгнул Михеичу на колени, замурыкал, захыркал, стал тереться усатой мордочкой в грудь старика, задрал трубой и распушив длинный хвост. Довольный своим «заклинанием» Михеич, широко улыбался и поглаживал мохнатого подлизу.

В это время приглушённо стукнула калитка, и по двору захрустели торопливые шаги.

– Ну, вот и дождались хозяйку, – заключил старик, ссаживая кота на пол.

Отворилась дверь, и спиной вперёд вошла, по-бабьи кряхтя и взоивая, старуха, вместе с ней в прихожую ворвался большой белёсый клуб морозного воздуха.

– А ты чего это впотымах-то сидишь? Ни зги не видно! – быстро проговорила она, осторожно, но скоро поставив на стол яичку яиц.

– Свет у нас отключили. По всей улице. Только ты ушла и – сразу.

– А-а, я и не заметила даже! Бежмя бежала, как ошалелая!

– Чего ж так?

– Чего! Крещенские ведь на дворе! Али забыл? Ресницы и те смерзаются. Шутка, что ли!

А тут ещё покупку волоки. Ни закрыться толком, ни отворотиться.

– Н-нда. В лютый холод всякий молод. Хорошо, хоть дошла. Не околела по дороге.

– Типун тебе на язык! Всё бы подтрунивать!

– Хе!

– А накурил-то как, го-осподи! Хоть топор вешай!

– А мне-то чё. Хочешь, дак вешай. Хе!

– Дымит, дымит каждый день! Как паровоз!

– Ла-адно, не бубни! Кота напугаешь.

– Вас напугаешь. Как же!

– Ну во-от, зате-еяла. Мы тут, понимаешь, ждём её с Васькой, как христово яичко, а она, погляди-ка, как расшумелась.

У нас тут такая тишина была. Правда, Вась?.. Где ходила-то эко время?

– А вот за яичками-то как раз и ходила. Аль не видишь?

– На что? Чай не праздник. Крещенье-то уж прошло, сколь я знаю, а до Пасхи ещё, как до Москвы на телеге.

Старуха, наконец, отдышалась, разделась, села напротив, у стола. Поглядела на мужа и вздохнула:

– Ты у меня совсем со склерозом стал. Начисто всё забыл.

– А что такое?

– Что? Именины у тебя через четыре дни – вот что. А яйца я купила, чтобы постряпать чего-нибудь.

– И то. Я и, правда, забыл. Постой, это сколько ж мне стукнет?

– Семисят шесть. Ты же в десятом году родился.

– Н-нда-а, память с дыркой стала, – с сожалением протянул Михеич.

Старуха тут встала, ушла на кухню. Видимо, начала шарить по столу и тут же загремела в темноте, уронив что-то на пол. Старик заворчал.

– Тебя лешак там водит! Сама расшибёшься и посуду всю перебьёшь!

Старуха тихо, с досадой охала, потирала ушибленный локоть.

– Чем ворчать-то, помог бы лучше, ирод!

– Что-о такое!

– Керосинка у нас где?

– Под табуреткой у холодильника.

– Нету.

– Смотри лучше. Глаза-то разуй.

– Да нету, что я, слепая, что ли!

– Тогда за самим холодильником гляди. Нашла?

– Нашла, нашла.

– Неси сюды, спички у меня.

Зажгли лампу. Освещённая комната стала родной и уютной. Старуха ещё немного посетилась, перекладывая покупку в холодильник, собрала на кухне уроненные миски да черепки от одного разбившегося-таки блюда. Потом взяла клубочек спряденной собачьей шерсти и

спицы, села около печки и принялась надвязывать протёртые пятки стариковских тёплых носков.

Замолчали. Старик достал новую папиросу и с отрешённым видом курил, старуха же споро перебирала спицами, склонив голову над вязанием. На стене монотонно тюкали ходики, а Васька напряжённо затаился у дырки в подполье и караулил скребущуюся там мышь. Михеич о чём-то думал, пристально поглядывая иногда на жену.

- А что, голубушка, столько лет прожить, как я, это шибко много?
- Да уж никак не мало, – отозвалась та, не отрываясь от своего дела.
- Н-нда. Порядочно. Тело-то, и правда, вон как одрябло. Глянь.
- Чего мне глядеть-то. Я тебя, как облупленного, вдоль и поперёк знаю.
- Ишь ты, – добродушно выговорил Михеич и пососал папиросу.

Потом склонил голову набок и снова поглядел на жену.

- А ведь не плохо мы с тобой жили, а?

Старуха из-под очков глянула на старика и оттопырила нижнюю губу: к чему это, мол, он ведёт? Затем тихо рассмеялась и игриво ответила:

- Жили? Хи! Вот так и жили: спали врозь, а детки были!
- Тьфу! Я ж тебя серьёзно, в большом плане спрашиваю, а ты!

– На-ка, «большой план», носок померяй, ладно ли будет? – она протянула старику один носок, а сама вытащила рядом из угла прялку, которая досталась ещё от матери, села на неё и принялась прясть уже примотанную шерсть, ловко потеревливая её одной рукой, а другой быстро-быстро прокручивая веретено. Оно прямо так и вертелось юлой и постепенно увеличивалось в объёме.

Михеич тем временем сидел с починенным носком на ноге. Так и сяк разглядывал его. Даже ногу на колено положил, чтобы лучше разглядеть. Помусолил с недоверием вязку между пальцами: надёжна ли?

Только потом удовлетворённо, с оттенком великодушия сказал:

- Хорошо сделано! Молодец!

Та в ответ лишь отчётливо хмыкнула.

Она не обиделась. Они вообще со стариком никогда серьёзно не ссорились. Оба любили пошутить, а если и поворчать, повздорить, то тоже с известной долей шутки. Потому, может быть, и прощали легко друг другу житейские мелочи.

А за столь долгую, пятьдесят два года, совместную жизнь, несмотря на видимую разность характеров, совсем попритёрлись друг к другу, стали не разлей-вода – старики Липатниковы. Недаром же в народе говорят, что не по хорошу мил, а по милу хорош. Так было и у них.

Старуха между тем уже устала прясть, движения рук замедлились, от однообразной работы да ещё при недостатке света неудержимо стало клонить ко сну. Она вздохнула, заткнула веретено в шерсть и, обращаясь к прялке, погрозила пальцем и шутливо наказала:

– Я сейчас спать лягу, а ты без меня одна ночью пряди. К утру чтобы всё выпряла. Поняла? Вот так.

Она встала, от души зевнула и одновременно перекрестила от нечистой силы рот. За ней встал и старик, опять пытаясь с усилием распрямить спину и постанывая.

- Ох, мать, болит у меня спина-то, моченьки нет! Словно кто шильем в неё тычет.
- Ну-у, беда мне впрямь с тобой. Третий день уж маешься, а всё ничуть не лучше. Айда, ложись. Сейчас постелю, и ложись, а я водкой тебе хребтину-то натру.
- Ох, во! Самое дело! А то ж ведь так и стреляет в костях-то.
- Ну, давай, айда, имвалид! Не рассыпья, покуда дойдёшь.
- Да ты погодь, погодь маленько! Я даже шага ступить не могу – так насиделся. Ханроз проклятый! Чтоб ему пусто было!

– Сам виноват. Тебе чего врачаха сказала? Не курить. А ты? Вот погоди у меня, найду, где прячешь, весь твой табак в печке сожгу!

– Да ты постой, не сердчай не по делу! Сама ведь знаешь, с войны костями стал маяться. Сколько болот да речушек вброд переходить пришлось.

– Помню-помню, всё помню. А и курить тоже не надо бы, бросать надо.

– Да куда уж мне бросать. Поздно. Как я без папиросочки, – грустно сказал старик и, наконец, с вздохом поковылял к кровати.

Спустя полчаса Михеич лежал под двумя стёганными одеялами уже разогретый, растёртый и тихо кряхтел, ожидая, когда подействует рюмочка «сорокаградусного обезболивающего», которую великодушно отмерила жена для приёма внутрь. Старуха тоже вскоре легла, потушив лампу, и повернулась к старику.

– Ну, чего? Легче?

– Да вроде как. Отпускает.

– Вот и слава Богу. Теперь спи. Да смотри, чтоб к именинам здоров был.

– М-м, и хвостик морковкой! – коротко в подушку хохотнул тот.

– Ну, это уж, если сможешь, – по-доброму усмехнулась в ответ старуха. Поворочалась на перине и сонно добавила:

– До завтра. Спи.

– До завтра, – глухо выдохнул Михеич из-под одеяла и замолчал.

Спустя некоторое время в доме Липатниковых уже все спали. Положив ладони под голову, еле слышно посапывала старуха, размеренно всхрапывал Михеич, а в ногах между ними свернулся в пушистый клубок и бесшумно спал-дремал кот Васька, прислушиваясь к ночным избушным шорохам. До завтра.

Анастасия

– Старух, а сёдни которо число будет?

– Двадцать седьмо, – донеслось сонно из-под одеяла.

– М-м. А месяц? Декабер?

– Ну.

– И то. А то я уж было запомятовал. Значит, де-ка-бер, – повторил он с расстановкой, вставая с кровати и надевая рубаху.

– Да ты куды вдруг ни свет ни заря? – недовольным голосом спросила, тоже поднимаясь, вконец разбуженная старуха.

– Как куды? Вчера всё было говорено.

– Ой, боже ж ты мой! – запричитала старуха, вспомнив минувший день и всплеснув руками. – Да, можа, ещё обойдётся всё, а-а? Перемогнётся она, поди? Ой, боженьки-и-и!

– Ишь ты, брат – перемогнётся! А то не слышала, что намедни ветинар сказал? Веди-ка, говорит, Михеич, её на убой. Молока вам от неё уже не видать, а так хоть мясо будет. Жалко, коли сама околеет, ей уж, мол, недолго осталось.

– Да, можа, ошибся ветинар-то твой, – горестно хныкала старуха, – можа, ещё выправится, милая! Го-осподи-и-и-и!

– Эж хватила! «Можа, ошибся». А то не думаешь, что наш ветинар – человек уважаемый, учёной. А ты его слова под сомнение ставишь, – наставительно рассудил старик.

– Да не ставлю я-а-а! Жалко мне её-о-о! – совсем заголосила старуха, закрыв лицо руками.

Многие в селе уже знали, что у Липатниковых горе – пропадает корова. Любимица. Ветинар, приходивший к ним два дня назад, осмотрел корову, выслушал стариков о том, что она уже много дней толком не ест, покачал головой. Поставил неутешительный диагноз какой-то коровьей болезни и ушёл, посоветовал не дожидаться, пока та сама не околеет через неделю. Да что и говорить, пожила уж коровушка своё.

Михеич оделся в серенькую фуфайку, нахлобучил на голову старенькую кроличью шапку-ушанку, надел на ноги широкие разношенные за прошлую зиму валенки.

Затем сел на табурет, для солидности помолчал, деловито натягивая на валенки калоши, потом только начал говорить.

– Ты вот со мной всю жизнь, почитай, прожила, да и старше меня на два года, а нисколько умней не стала, – сказал он с лёгким осуждением. – Все тебе, как дошколёнку, объяснять надо.

– И-и-и, у-умник выискался! Чего ж не министр-то тогда? В пинжаках бы ходил да ботинках. А то, вон, окромя валенок да калош ничегошеньки и нету.

– Ла-адно, не бубни, – по обыкновению протянул старик.

– Зачем калоши-то?

– Затем, что корову на убой поведу. Не на танцы же собираюсь

– Ну-у, и?

– Вот и «ну-у»! Мало ли что. Там же кровищи, наверное, будет. Вдруг наступлю нена-роком – весь валенок пропитается. А так всё путём будет. Соображать надо, – рассудил он поучительно.

Старуха в ответ лишь махнула рукой: «Бог с тобой! Дело хозяйское».

А Михеич вышел во двор и побрёл к стайке. Подойдя, он отодвинул засов, отворил дверь и шагнул в полумрак стойла, с густым, застоявшимся запахом сена, молока, коровьего пота и навоза. Осмотрелся, привыкая к недостатку света.

Светлым пятном у противоположной бревенчатой стены стояла липатниковская корова. Смотрела неотрывно на вошедшего хозяина.

У неё было довольно странное для коровы имя. Назвала её старуха уж как-то совсем не по-коровьи, а просто в честь своей первой внучки: Анастасия. Местный пастух поначалу долго потешался, когда водил на выпас сельское стадо прочих Бурёнок, Чернушек, Белянок, Зорек. А тут на тебе – Анастасия! Прямя-таки королевское имечко!

– Настасьюшка!.. – ласково кликнул старик корову.

Та в ответ тихо и коротко мыкнула.

– Наста-асьюшка, жива! – обрадовано пролепетал Михеич.

Он подошёл к ней, погладил по спине. Легонько поцарапал между рогами и за ухом. Тяжело вздохнул.

– На-ка вот. Можя, поешь?

И он сунул ей пук мягкого душистого сена.

Анастасия вытянула к сену обвислую шею, понюхала, но есть не стала, глядя на старика грустными большими глазами.

– Эк ведь тебя попржиало, родимая! – жалостливо выговорил Михеич. Бормоча ласковые слова Анастасии, он неспешно вывел её за верёвку во двор. Старуха, уже одетая, стояла на крыльце.

– Да чего ж ты так быстро-то! Хоть бы чаю, что ли, попил. Я бы пока попрощевалась с ней, матушкой моей, – начала было старуха, но Михеич печально и сухо оборвал её:

– Нет. Уже пора вести. Я с Егором договорился. Ждёт, наверно.

Старуха всхлипнула, завыла, обнимая корову за шею. А Анастасия покорно стояла и мелко вздрагивала от мороза, выведенная из тёплого и влажного помещения стайки. Изредка шумно вбирала и выпускала из себя воздух, устало поводила головой по сторонам и смотрела вокруг болезненно блестящими глазами.

– Ну, ладно, будет – сочувственно проговорил старик и тронул старуху за плечо. Та сразу вдруг сжалась и смолкла.

– Я... пошёл.

Михеич осторожно потянул за верёвку, и Анастасия послушно поковыляла за ним. На улице старик оглянулся в сторону дома и тоскливо вздохнул, встретившись взглядом с заплаканными глазами жены.

– Пойдём, Настюш, – обратился он к корове, которая выжидающе и болезненно смотрела то на старика, то на старуху, стоящую в проёме ворот, то бесцельно вглядывалась в оснеженную даль за рекой и всё так же крупно дрожала, едва держась на обессиленных исхудавших ногах.

И они пошли.

Поскотина, где забивали совхозных животных, находилась на противоположной стороне села, почти у леса, и путь предстоял не близкий. Михеич специально договорился с конюхом Егором об этом месте, а не во дворе дома, чтобы лишний раз не ранить сердце жены.

Старик украдкой отирал наворачивающиеся на глаза слёзы, семенил впереди неровными шажками и виноватым голосом разговаривал с коровой. Словно пытался её как-то утешить.

– Что ж ты, Настасьюшка, разболелась-то так у нас? Старуха-то, вишь, как изводится по тебе – ревмя ревёт. Жалко.

– Му-у-у, – словно понимающе отвечала бредущая позади корова, тяжело дышала старику в спину и выпускала из ноздрей клубы пара.

– Вот и я говорю, пожила бы ещё годик-другой, а? И тебя ведь дюже жаль.

– Му-у-у, – монотонно вторила Анастасия.

– Ты только, Настенька, не бойся, – продолжал извиняться старик. – Егор – мужик хороший, сильный. Он у нас конюх. Не бойся, не больно ударит, с одного раза порешит, не почувешь. Он умеет. Ты прости, что не я, а чужой. Я уж слабый для этого. Да и рука у меня на тебя не подыметя.

Так и шли они. Старик тихо бормотал что-то, то и дело оборачиваясь к корове, а она понуро качала головой и осторожно переступала сзади, изредка помыкивая в ответ.

Дошли до поскотины. Егор уже ждал с длинным колуном в руках, опираясь на него, как на посох.

– Привет, батя!

– Здравствуй, Егор. Вот... привёл.

– Угу.

– Чтоб не маялась – сможешь?

– Угу. Плёвое дело! Видно, что слаба.

– Ты уж не оплошай, Егор, – жалобно попросил Михеич и тоскливо поглядел на корову.

А Анастасия, до настоящего времени безучастно, безропотно ковылявшая вслед за стариком, теперь насторожённо оглядывалась по сторонам, тревожно нюхала то воздух, то утоптаный снег, пахнувший кровью после недавнего забоя. Нервно и испуганно косила выпученными глазами на собравшуюся невдалеке большую свору бездомных одичавших собак – завсегдатаев кровавого пиршества, которые уже сейчас жадно глядели на неё, облизывались и нетерпеливо урчали.

Конюх и Михеич не успели заметить той перемены, которая произошла с Анастасией. Она вдруг вся напряглась и часто задышала, переступая копытами по хрустящему промёрзшему снегу. А когда Егор уже было взялся левой рукой за рог, чтобы для удобства заломить корове голову, она вдруг резко рванулась в сторону и (откуда только сила взялась!) опрометью поскакала прочь с поскотины, в сторону леса.

Разом ошетилившаяся свора собак тут же кинулась в погоню, стремглав промчавшись мимо ошарашенного Михеича и упавшего на снег Егора.

– Да что же это, а! – выдохнулось у старика. – Настенька! На-стя-а!

– Да не волнуйся, батя. Нагоним мы твою корову, надолго её никак не хватит. И что только с ней такое случилось?! Как вожжа под хвост попала! А ты говорил, помрёт, не сегодня, так завтра. Присядь пока здесь на бревно. Пойду, лошадь запрягу.

А собаки гнали и гнали Анастасию по лесной дороге. То и дело подскакивали и в хищном азарте хватили её зубами за ноги, за бока. Она спешно, на бегу отлягивалась от них, норовила боднуть самую нахальную и всё бежала из последних сил, с беспросветным отчаянием в глазах. Временами иступлённо взмыкивала на всю округу, перебивая ошалелый лай собак.

Надсадно, шумно дыша, Анастасия вразнобой, почти бессознательно перебирала ногами, с усилием отгалкиваясь от накатанного снега дороги, держа на отлёте тощий жгут хвоста с метёлкой на конце. В налитых кровью глазах стоял ужас загнанного обречённого животного.

Вдруг корова натужно захрипела, её бешеные скачки резко замедлились, и она, рванувшись ещё раз два вперёд, остановилась, покачнулась и неловко рухнула на колени, мигом облепленная со всех сторон разъярёнными собаками. Упёршись рогами в снег, Анастасия ещё попыталась встать, но свора свалила её набок, иступлённо разрывая когтями и зубами измождённое тело коровы.

Она уже не мычала, а только утробно хрипела, беспорядочно вздрагивая ногами в предсмертной агонии. Из распоротого собаками брюха шумно вышел тёплый, пахнувший внутренностями воздух. Тело Анастасии в последний раз передёрнулось и замерло, обмякло. Вокруг слышалось только глухое ворчание и жадное чавканье собак.

Когда, отчаянно нахлёстывая лошадь, Егор и Михеич наконец подъезжали к месту звериного пиршества, Анастасию уже нельзя было узнать. Развороченная туша с торчащими наружу полуобглоданными рёбрами издали кровенела посреди дороги.

Завидев приближающиеся розвальни, собаки нехотя отпрянули в сторону, стараясь ухватить кусок мяса побольше.

Егор на ходу соскочил с розвальней, останавливая лошадь.

– Тпр-ру-у-у-у-у! Ах, чтоб вас р-разор-рвало! – и он, схватив с дороги, зло бросил в собак наугад «картофелину» мёрзлого конского помёта.

Собаки, недовольно рыча и скаля зубы, отбежали метров на десять и выжидающе сели на обочине дороги. Пристально глядели на людей и облизывали окровавленные морды с застывшими красными ледышками на усах.

– О-о-ой-ё-ёй! О-о-ой-ё-ёй! Ма-а-атушка-а-а! – безудержно в голос плакал старик над коровой. – Да что же это, а-а-а! Ох, вы, нехристи-и!.. Настенька-а-а!.. У-у-у, застрелю-у-у! – истошно, с надрывом ревел старик сквозь зубы и грозил иссохшим кулачком в сторону собак. – Застрелю-у-у-у! Все-ех!..

– Ну, Михеич, ну, не надо, – успокаивал его Егор. – Пропала уж теперь корова. Всё мясо попорчено. Поехали домой. Ничего не поделаешь.

Он попытался поднять Михеича с колен, который теперь совсем забыл о калошах и сильно испачкал штаны в густой крови.

– А ты-то чего медлил! – накинулся было старик на Егора. – Ох, горюшко-о-о! Вот оно горюшко-то где-е-е!

Егор, наконец, крякнув, сумел поднять обессиленного расстроенного старика на ноги, и тот, пошатываясь и спотыкаясь, побрёл к розвальням, опираясь на конюха и всё оглядываясь на Анастасию, которую Егор сообразил оттащить к краю дороги.

Обратно ехали молча. Егор мрачно курил да изредка понукал лошадь, шёлкая её по крупу вожжём. Михеич сидел спиной к конюху, в горестном забытьи глядел на убегающую из-под скрипящих полозьев дорогу и не видел её, как не видел ни леса, ни первых промелькнувших окраинных домишек села. Перед его мысленным взором неподвижно стояли глаза Анастасии, полные безграничной усталостью, тоской и неизбежной болью, теперь стеклянно леденеющие в лесу на декабрьском морозе.

Дом на мертволесье

Этот дом предстал моему взору, когда я вдруг совершенно случайно вышел к нему, возвращаясь с охоты на боровую дичь.

Лесная избушка или скорее всё-таки дом, был довольно странен. Как в своём расположении, в глухом таёжном бездорожье, так и в своём облике. На удивление ветхий сруб шесть на шесть метров, четырёхскатная, теперь довольно редкая в наших краях крыша, дверь прямо внутрь, без сеней и... всего одно маленькое окошко. Как глаз. Это было самое непонятное для такого крупного строения.

Никто не знал его точного нахождения в тайге. Все осторожные люди далеко обходили те места, где он предположительно находился. Но в окрестных селениях не один десяток лет ходили жуткие слухи, передаваемые из уст в уста только в полголоса или даже шёпотом, что этот дом мог непостижимым образом передвигаться по лесу. Иначе как можно объяснить, что вдруг в совершенно другом, хорошо знакомом и, как говорится, хоженном-перехоженном месте, охотник просто столбенел от удивления и смутного ужаса, когда неожиданно видел перед собой чёткие очертания одноглазого лесного призрака.

Итак, я случайно вышел к нему. Загадочная сила привела меня сюда. Это было совсем не по пути моему обычному возвращению с охоты в этих местах. Что-то необъяснимое заставило с самого начала уклоняться всё левее и левее от знакомой тропинки, пока я не оказался здесь.

Здесь. В самой сердцевине мертволесья. Тяжёлый дух исходил от гнилой земли этого кладбища деревьев-мертвецов. Угрюмыми, обветренными до белизны скелетами высились они среди редких островков чахлого мха и хищно целились в пустынное небо корявыми когтями узловатых ветвей. Даже ненароком залетевшая сюда птица остерегалась опуститься на их безжизненные кроны, как будто извечное проклятье витало над мертволесьем, не позволяя воспрянуть здесь новой жизни. Только ленивый, дрёмный ветер путался в развалинах сухих ветвей, и те надсадно, зловеще шипели и скрежетали. И ещё долго леденящие душу стоны отдавались тоскливым эхом внутри меня, пока я с невольным напряжением озирался вокруг. Нехорошее место. Мёртвое.

И в то же время каким-то шестым чувством, каким-то почти животным инстинктом я осознавал, что не всё здесь так мертво, как кажется. Я чуть ли не кожей чувствовал на себе невидимые взгляды. Влекущие и давящие, отбирающие волю, сковывающие разум. Но передо мною были только деревья. Мёртвые деревья. Я снова обернулся.

И увидел его.

Казалось, дом возник из пустоты. Так оно и было. Ещё минуту назад на том самом месте не было ничего кроме моховых кочек да тупого копыя сломленной берёзы. И теперь, когда он так неожиданно, врасплох предстал перед глазами, моё состояние было сравнимо лишь с тем, когда я однажды, сев в лесу перекусить, потревожил отдыхавшую рядом гадюку. К счастью, хоть и сошло с меня три холодных пота, тогда всё кончилось благополучно. Змея только слегка приподняла голову, поводила трепещущим тонким языком в мою сторону и, мгновение помедлив, скользнула в густую траву.

Но сейчас ничего подобного не случилось. Дом не исчезал. Я стоял и с хмурым интересом разглядывал его. Он манил к себе и в то же время отталкивал, стоило вспомнить многочисленные истории о нём. Я осторожно приблизился.

Вокруг по-прежнему было зловеще тихо. Даже отчётливо было слышно учатившееся биение сердца. Казалось: раздайся малейший звук внутри дома, и я тут же распластаюсь на кочках среди мха, держа наизготовку ружьё. Но вязкая, гнетущая тишина как будто заглотила все звуки в своё безмолвное чрево.

Я подошёл вплотную к дому и краем глаза заглянул через окошко внутрь. В единственной комнате царил глубокий полумрак. От рамы и стены до тошноты пахло гнилью и плесенью. Сама их поверхность была скользкой и липкой на ощупь.

В то время как я пытался через мутное стекло разглядеть обстановку дома, привыкая к недостатку света внутри, всем телом почувствовал вдруг, что сзади надвинулась огромная мрачная тень и угрожающе нависла надо мной. На какое-то мгновение я оцепенел и словно прирос к земле, молниеносно и бессильно соображая: «Что это?!». Но уже в следующий миг с бешено колотящимся сердцем развернулся и расширенными глазами впился взглядом в то, чем это могло быть.

О боже! Это была громадная синюшно-чёрная туча. Она захватила уже больше половины неба и с безмолвным коварством заглотнула солнце. Именно заглотнула! Её мертвенно-лиловые края явственно походили на хищно скалящуюся пасть неведомого жуткого чудовища. Неуклюжего, горбатого, но безжалостного. Я невольно отшатнулся, поражённый внезапным гнетущим зрелищем. Заметно клубясь, чудовище неотвратимо быстро разрасталось и властно гасило непроницаемой чернотой голубую высь.

«Проклятье! Откуда она взялась?».

Я заморожено смотрел на тучу, не шевелился и в налетающих порывах ветра чувствовал её холодное тяжёлое дыхание. Она громоздилась всё ниже и ниже над мертволесьем. Ещё немного, и уродливые скелеты деревьев, казалось, начнут царапать её тугое брюхо.

Нет, неспроста эта туча-чудовище. Неспроста. И дом. И мёртвые деревья. Мёртвые?..

От дальнего холма уже приближалось плотное мышинно-серого цвета широкое крыло дождя. Издали оно было похоже на густую старую паутину или сеть для ловли растерявшихся жертв. Похоже, дождь собирался идти довольно долго.

– А я как раз без зонтика, – вслух ухмыльнулся я и... испугался своего голоса. Он был словно чужим!

Туча заполонила всё видимое пространство неба и вдруг остановилась, словно выполнила свою цель. Застыла прямо надо мной. Тоскливый шум ветра внезапно стих, и я ясно уловил обострённым слухом drobный шорох надвигающегося ливня.

Откуда-то из глубины памяти, из раннего детства, до меня донёсся хрипловатый голос деда: «Есть в нашей тайге, внучек, нехорошие места. Знай это на будущее. Но больше всего остерегайся одноглазого дома. Слышал, наверно, уже про него? Вот. Но если, не дай бог, набредёшь на него – никогда не заходи внутрь. Никогда!».

Тут же невольно вспомнилось, что каждый раз, когда из нашего села пропадали в тайге люди, и их не могли найти, то несчастье непременно, с бессильным суеверием списывалось на счёт одноглазого дома-призрака. Он забрал. Я очнулся от мыслей и с затаённым страхом посмотрел на старый угрюмый дом.

На лицо капнули первые холодные крупные капли. Я зашипел от боли. Они были, как укусы! Ещё две капли попали на кисть руки. Снова жалящая боль и тут же два красноватых припухших пятнышка на коже. Да что же это! Я непроизвольно отпрянул в сторону и вскинул взгляд на тучу. В нескольких местах из её брюха вытягивались и извивались белёсые языки, они шарили в воздухе и тянулись в мою сторону. Как щупальца! Я сдавленно вскрикнул и кинулся к дому, прочь от колющих капель и этого пугающего наваждения. Давний наказ деда напрочь вылетел из памяти, и к тому же у меня не было выбора, чтобы укрыться от ужасного дождя. Да и полумрак комнаты невидимой могучей силой притягивал к себе. Манил. Всасывал.

Самое противное в происходящем было то, что зачарованный разум плохо сопротивлялся неведомой власти дома. Да что там плохо! Он совсем не сопротивлялся! Я стоял уже под узким навесом у самой двери.

Разразился ливень. Больше медлить было нельзя. «Проклятая туча! Это ведь ты загоняешь меня туда!» – слабо возмущался рассудок.

Вздрагивающей рукой я коснулся ручки двери, будто собирался вскрыть что-то запретное, и с силой дёрнул её. Дверь с металлическим скрежетом отворилась. Показался тёмный проём, и которого дохнуло чем-то затхлым. «Как пасть чудовища!» – неприятно подумалось мне.

Торопливо и в то же время насторожённо вошёл я внутрь. Сзади, заставив вздрогнуть, глухо захлопнулась дверь.

Сейчас, из-за тучи и проливного дождя, здесь стало ещё сумрачней, чем в ту минуту, когда я пытался разглядеть внутреннюю обстановку дома снаружи. Окошко величиной чуть больше сиденья табуретки да ещё с толстой рамой в виде перевёрнутого креста почти не пропускало остатков света. Но вот предметы начали постепенно проступать из темноты.

«Убранство» комнаты было скудным и удручающим. Массивный, грубо сколоченный стол у окна, на потемневшей от минувших лет бревенчатой стене старинные сломанные ходики с тяжёлым ключом от амбарного замка вместо потерявшейся, видимо, гирьки, полуразрушенная печь, мрачно белеющая справа от меня, а в дальнем левом углу стояла древняя железная кровать метровой ширины. Это – всё. Больше не было ничего. Впрочем, нет. Ещё одна вещь. На кровати лежал уже ветхий от времени матрац с несколькими такими же старыми заплатами. Вот и всё. Вроде бы ничего страшного. И всё-таки саднящее неприятное чувство или предчувствие не покидало меня. Над всей моей сутью неотступно довлело такое ощущение, как будто в доме присутствовал кто-то ещё. Невидимый.

Я подошёл к столу.

С виду – обыкновенный стол. Заляпанный, искарябанный ножом, с многочисленными корявыми памятными инициалами ночевавших здесь таёжных путников. Стол как стол, как в любой другой охотничьей избушке.

И тут я заметил давным-давно побуревшую, излишне витиевато процарапанную на широкой доске столешницы надпись.

«Интересно, кому это вдруг захотелось так долго корпеть над этими словами?» – мимоходом подумалось мне.

Разобрать надпись сходу было трудно, и я принялся оттирать забитые высохшей грязью и лесной пыльной трухой буквы рукавом куртки. Необъяснимая спешка охватила меня в ту минуту! Я непременно хотел прочитать написанное. Наконец, фраза, процарапанная на столешнице, стала видна более-менее отчётливо.

«ВХОДЯЩИЙ В СЕЙ ДОМ – ЕСТЬ ИЗБРАННИК.....»

Я остолбенел! Что бы могла означать эта загадочная фраза? Какой её тайный смысл?

Надпись явно была неполной. После слова избранник должно было, по всей видимости, быть ещё одно слово. Из шести букв. Но оно было тщательно соскоблено ножом. Теперь на месте букв красовались лишь шероховатые углубления. Ровно шесть!

Меня пробил пот! Судорожно, вполголоса я прочёл надпись ещё раз:

– Входящий в сей дом – есть избранник.

Чей? Чей я теперь избранник?!

Догадки бешено завертелись в голове, машинально избирая те, в которых было шесть букв. Чей же?

ЛЕШЕГО?

САТАНЫ?

СМЕРТИ?

Подходило любое. И было до внутреннего опустошения страшно, что никакие другие слова больше не приходят на ум. Догадка будто заиклилась на этих роковых словах.

С трудом я заставил себя отойти от стола. Взгляд был просто прикован к надписи.

«Я – избранник!.. Для чего?» – крутилось в голове, пока я отступал шаг за шагом назад. Суеверный страх хлынул в мозг. Сердце то бешено колотилось, то, казалось, совсем останавливалось. Я чувствовал, как оно, сжимаясь, замирало в груди, и с ужасом думал: остановилось! Но новый неуверенный толчок подтверждал, что я ещё жив!

Я по-прежнему медленно (боже, как медленно!) удалялся от стола. И вдруг за что-то споткнулся, потерял равновесие и стал падать назад. От внутреннего перенапряжения, готового выплеснуться в любую секунду наружу, я закричал, вновь пугаясь своего чужого голоса.

Мощный удар в затылок оборвал крик. Сознание угасло.

Сознание. Какая капризная вещь – сознание! Способное в мгновение ока оставить вас, оно очень медленно возвращается.

Наконец я открыл глаза и застонал. Голова находилась под кроватью. До меня дошло, что это об её железный край я ударился при падении. Но было ли всё это случайно?

Голова страшно гудела и ныла. Я осторожно дотронулся до затылка и досадно скривился. Часть шеи возле основания черепа сильно отекала от удара. Я приподнялся на локте и бросил взгляд туда, где мог запнуться. Из половицы торчал гвоздь. Немного. На полсантиметра.

– Скотина! – процедил я ему сквозь зубы.

И тут же гвоздь накрепко вошёл обратно в половицу.

Я окаменел! Остекленелыми глазами уставился туда, где только что торчал виновник моего падения. Гвоздя не было. Что за бред! Я готов поклясться, что он был!

Липкий пот выступил на ладонях. Снова вернулся страх.

Что-то изменилось ещё. Я сходу не мог понять, что именно, и ошалело водил глазами по комнате, пока взгляд не упал за окно. Только тогда понял, в чём дело. Кончился дождь. Снова навалилась непроницаемая тишина. Непривычная тишина.

Подняв руку к глазам, я взглянул на часы и едва разглядел блестящие стрелки. Они остановились на половине восьмого. Сколько же тогда сейчас? За окном смеркалось. На смену дождю незаметно подкрался сырой грузный туман, от которого уже в двадцати шагах деревья полностью размывались в молочной белизне.

«Чёрт возьми! Кажется, я застрял здесь на всю ночь!» – с испугом подумал я.

Место мне всё больше не нравилось! Надпись. Гвоздь. Кровать, словно прокрустово ложе, с матрасом, красные заплатки которого сейчас привиделись мне пятнами крови. Остановившиеся часы. Полуразрушенная печь. Зловещая тишина. Всё это нагнетало дурные мысли, от которых невозможно было избавиться. Я был избранником этого заколдованного места. Пленником! Во власти того, другого, которого я не видел, но постоянно чувствовал его безмолвное присутствие, его смердящее, одурманивающее дыхание в спину.

Словно в подтверждение этому, могильную тишину нарушил крадущийся шорох и скрип на чердаке. Сверху посыпались частички трухи.

Я весь сжался и чуть не задохнулся от холодного ужаса! Это он! Он! Кто же ещё! Хозяин дома! Он пришёл за мной! Сейчас он спустится и войдёт сюда.

В горле запершило от трухи. Не в силах сдержаться, я закашлялся.

Шорох наверху внезапно прекратился. Но я ждал, что вот-вот он начнётся снова. Интуитивно дотянулся до ружья и снял с предохранителя. «Пусть только сунется! Я так просто не дамся!».

Я вперился взглядом в дверь. С отчаянием сообразил, что она не заперта, а лишь закрыта. Но противная тяжесть не позволяла сдвинуться с места, чтобы встать и хотя бы накинуть крючок. Всё тело словно налилось свинцом. Вдобавок продолжала страшно болеть голова. Меня настигла паника!

И тут же безжалостная мысль стегнула в мозг: «А есть ли вообще этот крючок?!».

Кто-то ходил уже с другой стороны дома. Я чувствовал его спиной, улавливал затаённое, но жаждущее дыхание.

Хрустнула сухая ветка. Как выстрел. Дрожь прошибла тело. Голову будто облили ковшом кипятка. Я крепче сжал ружьё, палец плотно прирос к спусковому крючку.

Теперь к шороху с улицы добавились новые. Начал скрипеть сам дом. То в одном, то в другом углу раздавался жуткий звук. Он был похож на скрежетание зубов. У меня почти не было сомнения, что дом ожил.

Гнетущие звуки всё прибавлялись. Что-то царапалось под полом, и в воображении представлялись иссохшие когтистые пальцы существа из преисподней, что-то шелестело по стенам, неудержимо ползло ко мне, но я никак не мог разглядеть это в темноте. Темноте густой и враждебной, которая со всех сторон вязко облепляла меня.

Наверное, не существует пределов ужаса, который может испытать человек. Разве что смерть. Наоборот, кажется, что по какому-то непостижимому закону потусторонний мрак, в который он погружается, становится всё гуще и гуще, ужас накладывается на ужас, ещё более душераздирающий, пока, наконец, окончательная завеса тьмы не скрывает всё. Самое страшное в подобных ситуациях – порог: до каких границ, пределов ужасного может прийти человеческий рассудок, оставаясь при этом здоровым и дееспособным.

Вдруг взгляд снова, словно под действием магнита, метнуло к окну. Я ощутил, как поднялись дыбом волосы!

За перевёрнутым распятым рамы в трёх шагах от дома стоял он и жадно смотрел на меня. Я невольно отпрянул, ударившись лопаткой о край кровати.

Из-за густой пелены тумана я различал его светлый узкий силуэт. У него были чёрные глаза. Но – нет. Это были не глаза. Это были пустые чёрные глазницы. Бездонные, как пропасть. Они-то и уставились на меня. Немигающие! Алчущие!

Рассудок у меня помутился. Я истошно заорал, но, кажется, даже не услышал своего нечеловеческого вопля! А в следующее мгновение, вскинув ружьё, выстрелил сразу из двух стволов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.